

Артем Зубов

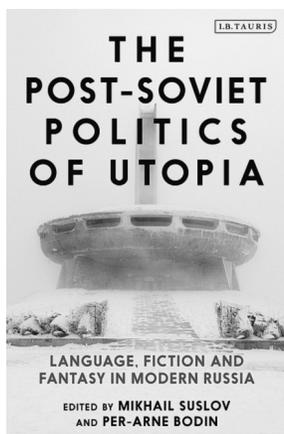
Кому в утопии жить хорошо?

ЛИТЕРАТУРНАЯ УТОПИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

The Post-Soviet Politics of Utopia: Language, Fiction and Fantasy in Modern Russia / Ed. by M. Suslov, P.-A. Bodin.

L.; N.Y.: I.B. Tauris, 2020. — XII, 362 p.

Классическая утопия не предполагает внимания к тому, что сами «утопийцы» думают об устройстве их идеального общества: жизнь в нем равно прекрасна для всех. Как следствие, утопия воспринимается только на определенной дистанции «через внешний взгляд стороннего наблюдателя», «редуцирующий частности и различия» и делающий всех жителей утопии одинаковыми¹. С момента выхода книги Томаса Мора дистанция между утопическим изображением и человеком многократно проблематизировалась и переосмыслялась, в особенности в связи с вопросом о реализации утопии в жизни. Обнаружение «человеческого измерения» утопии обусловило осознание ее тоталитарного характера и привело к провозглашению «конца» утопии как политического и социального проекта. Одновременно с этим стало очевидно, что «утопический импульс» (в терминологии Ф. Джеймисона) не сконцентрирован только в конвенциональных литературных утопиях, а присутствует во многих



артефактах культуры — как в тех, которые традиционно относятся к «высокому искусству», так и в образцах современного «массового искусства». Культурная функция утопии в этом понимании двойственна. С одной стороны, она манипулятивна: используя коллективно разделяемые страхи, надежды и переживания как «фантазийную приманку», утопия исполняет людские желания. С другой — выводя на поверхность реально существующие социальные противоречия, она подвергает их вытеснению и предлагает для них воображаемые разрешения². Действенность «утопического импульса», однако, напрямую зависит от способности воспринимающего его распознать и среагировать на него, то есть связана с особым культурным навыком, позволяющим увидеть утопию в окружающем мире.

Для авторов сборника «Постсоветская политика утопии: язык, литература и фантазия в современной России» привлекательность утопии лежит в области праг-

- 1 *Каспэ И.* В союзе с утопией: смысловые рубежи позднесоветской культуры. М.: Новое литературное обозрение, 2018. С. 84. Ср.: «Нам предложено воспринимать утопический социальный порядок как желательный (наилучший из возможных, по утверждению Гитлодея), однако утопия не оставляет места вопросу о том, чье желание тут предьявлено. Чтобы присоединиться к утопии, необходимо принять это желание за свое собственное» (Там же. С. 46).
- 2 *Петровская Е.* Утопическое в массовой культуре // Петровская Е. Безымянные сообщества. М.: ООО «Фаланстер», 2012. С. 228–231; см. также: *Jameson F.* Reification and Utopia in Mass Culture // *Social Text*. 1979. № 1. P. 130–148.

матики и определяется, с одной стороны, способностью утопии отражать коллективные представления об идеальном мире, а с другой — тем конструктивным воздействием, которое она оказывает на людей и мир. Составители сборника Михаил Сулов и Пер-Арне Будин указывают в предисловии на интересующую их диалектику между порабощением и освобождением: утопия является инструментом выражения и продвижения определенной политической программы, но она же и освобождает воображение от навязанных образов мира — с ее помощью мы можем представлять альтернативные варианты истории и таким образом «переизобретать наше будущее» (с. 1—2).

Перед читателем книги открывается широкая панорама современных русскоязычных утопий. В поле зрения исследователей попали произведения «большой литературы» и ориентированные на коммерческий успех и популярность у широкой аудитории образцы «массовой литературы»; политически ангажированные литературные проекты, получающие финансовую поддержку правительства, и сочинения, опубликованные на личных страничках авторов в интернете. Статьи объединяет интерес к ирреалистическим, фантастическим произведениям, в которых используются различные модусы и модальности изображения «несуществующего»: желаемого или нежелательного, идеализированного или устрашающего, возможного при каких-то условиях или невозможного в принципе. В этих произведениях авторам важно политическое сообщение, содержание которого определяет культурную специфику русскоязычной утопии по отношению к утопии «западной». В центре внимания западной утопии находятся вопросы глобального, планетарного характера: проблемы экологии и последствия возможной климатической катастрофы, автоматизация труда и технологии искусственного интеллекта, реальные пути освоения космоса и этические аспекты биотехнологий. Отечественная же утопия рефлексирует о месте России в мире, о национальной идентичности и национальной истории. Исключенность из глобального утопического дискурса обусловлена, по мнению авторов предисловия, тем, что современная Россия понимает себя как «постсоветскую», то есть возникшую в результате травматического опыта — распада «советской империи». Литературная утопия, таким образом, выполняет терапевтическую функцию: обнажает травму, делает ее видимой и, значит, доступной для осмысления и в то же время — в эстетической сфере — нейтрализует ее (с. 7—9).

Статьи сгруппированы по тематическому принципу: история, идеология, язык, территория. Это деление более или менее условно: проблематика национальной истории и значение прошлого страны для ее настоящего не обсуждаются отдельно от вопросов идеологического характера, которые, в свою очередь, тесно связаны с проблемой языка и национальной идентичности, а также с тем, как осмысляются границы России. Между тем книга представляет интерес прежде всего как цельное произведение — как «карта» современной русскоязычной утопии. При таком взгляде «с высоты птичьего полета» становится очевидной «фантазмагоричность» ландшафта утопического воображения: фантазии о России, создаваемые в разных сегментах отечественного литературного рынка, выглядят противоречащими друг другу и даже взаимоисключающими, но вместе с тем видна и легкость, с какой конфликтующие фантазии переходят одна в другую: утопия «правых» переворачивается в антиутопию «левых» и наоборот. В статьях не раз встречается тезис о невозможности истолкования рассматриваемых текстов как однозначно утопических или антиутопических, поскольку нестабильна позиция, с которой может быть дано то или другое определение.

Начнем обзор сборника с конца — со статьи *Марка Липовецкого* о романе В. Сорокина «Теллурия» (2013), которую можно прочитать как метакомментарий

к монографии в целом. В романе Сорокина тематизируется гибридная структура современного утопического воображения: границы между «консервативной утопией» и «либеральной антиутопией», идеализированным прошлым и пугающим будущим, реальным и виртуальным размыты и проницаемы, так как лишены существенных оснований (с. 301). Действие романа происходит в постапокалиптическом будущем, в котором мир разломан на множество государств-штатов. Территориальная раздробленность мира отражена в структуре романа: каждая глава характеризуется особыми дискурсом, повествовательной перспективой и хронотопом, из-за чего текст в целом воспринимается как сложная разноголосица мнений и точек зрения, несводимых к единой и цельной идеологии. Антиутопический по содержанию роман интонационно, однако, «звучит» иначе — в нем создается «атмосфера» всеобщего возбуждения, радости и даже экстаза. Сконцентрированные в романе различные утопические мировоззрения показаны как сосуществующие. В согласии с «консервативными утопиями» утраченные идеалы и ценности Сорокин находит в прошлом — в культуре Средних веков, ставших футуристическим фоном России середины XXI в. В прошлом обнаруживается новое «сакральное», которое в контексте романа воплощается в идее сообщества как источника новой этической и культурной нормы. Но роман также дает читателю возможность посмотреть на утопичность «нового медиевализма» с критической («леволиберальной») точки зрения (с. 305—310).

Особенности отечественного утопического воображения, намеченные в романе Сорокина, подробнее раскрываются в других статьях сборника. Так, в центре внимания авторов первого раздела — понятие истории. *Го Кошино* указывает, что концепция альтернативной истории не могла родиться в советское время, так как противоречила марксистско-ленинской доктрине о линейности истории. Появление этой разновидности литературы в период перестройки говорит об идеологических и социальных сдвигах: она стала симптомом наступившего социального беспорядка, который сама же помогала читателям пережить, предлагая идеализированные картины прошлого (с. 34). *Мария Галина* сосредоточивается на «трешовой литературе» — геополитических фантазиях о победах России в войнах будущего и романах о «попаданцах», повествующих о путешествиях героев в различные периоды российской истории. Геополитические и «попаданческие» сюжеты были популярны в 2000—2015 гг., однако сегодня интерес к ним угасает. Согласно Галиной, эти романы помогали читателям «сбежать» от насущных социальных проблем, вызванных нестабильной политической ситуацией 1990-х (с. 48). Автор ставит интересный вопрос: свидетельством чего может быть популярность этих сюжетов? Стоит ли говорить о «заказе сверху» и трактовать успех как действие пропаганды, или же популярность объясняется социальным «запросом снизу» и способностью этих произведений отражать и выражать коллективные настроения людей (с. 45)?

Об интересе к прошлому в контексте «консервативного поворота» пишет *Мария Энгстрём*. По ее мнению, «консервативный поворот» в политике и культуре вызван шаткостью позиции современной России в глобальном пространстве и ощущением, что все большие победы остались в советском прошлом. Для самореабилитации правительство «заказывает прошлое», спонсируя культурные проекты, которые отвечают консервативной политической повестке. Однако создаваемые «продукты», попадая на рынок, становятся предметами массового тиражирования. В конечном счете, заключает автор, консервативная и неолиберальная логики не противоречат друг другу: советское прошлое возвращается как рыночная «машина желаний» — она создает потребность в идеальном мире, которую сама же устраняет, не требуя от людей никакого активного действия, кроме потребления (с. 76). Обсуждение значения советского прошлого для современной России продолжается

в статье *Мюринн Магуайр*. Автор утверждает, что советский опыт исключает возможность создания утопии. Но настоящее России невозможно отделить от травматического прошлого, которое, однако, пока почти не поддается осмыслению. Очевидно, что оно что-то значит и как-то продолжает воздействовать, но возможности осознать, что с ним делать, еще нет. В этой ситуации важны «романы-гетеротопии» (автор разбирает произведения Е. Водолазкина и В. Шарова): в них изображаются особые места, в которых травматические, ужасающие, деструктивные элементы прошлого изолируются и поэтому могут быть рассмотрены, изучены и осмыслены, но их интеграция в широкий контекст современной жизни все еще остается невозможной (с. 96).

В статьях первого раздела (как, впрочем, и других) акцент делается на произведениях, в которых изображаются альтернативные версии российской истории и — в критическо-фантастическом ключе — российское настоящее. Как следствие, авторы сосредоточиваются на тематическом анализе — на том, что произведения сообщают. Нерешенным остается вопрос о воздействии на читателя: как эти произведения читаются, что они значат для людей, в какой степени читатели доверяют изображению и содержащемуся в нем политическому посланию? По мнению М. Галиной, популярность «трешовых романов» о «попаданцах» свидетельствует о коллективном запросе на этот тип сюжета, и именно поэтому он популярен. Другой автор (В. Шнирельман) считает, что популярность консервативной научной фантастики В. Головачева говорит о ее влиянии на общественные настроения, которые она же и выражает (с. 176). Если попробовать выйти из этого замкнутого круга тавтологии, опирающейся на видимую самоочевидность понятия «популярное», то какие можно делать выводы о том, что дает чтение подобных (и не подобных) романов читателям? Ясно, что матрица культурного потребления может быть очень неоднородной: читательские предпочтения могут распространяться на разные жанры и типы литературы, принадлежащие разным сегментам культурного производства, которые в сознании людей взаимодействуют, дополняют и оттеняют друг друга, вступают во внутренние противоречия. Структуры предпочтений отличаются у разных групп читателей, но они также подвижны и меняются при переходе читателя из одной возрастной категории в другую³. Описать и исследовать эту неоднородность и подвижность, по-видимому, можно в рамках широко-масштабного социологического исследования. Но, поскольку речь идет о литературе, в центре внимания должен быть вопрос о взаимодействии читателя с текстом, то есть об опыте и навыках, которые читатель получает в ходе литературного чтения и которые впоследствии может перенести из «текстового мира» в мир повседневности. Ответ на этот вопрос выходил бы за рамки утверждений, что тематика романов и мнения и настроения людей связаны непосредственно или что литература служит исключительно «убежищем» от трудностей и волнений реального мира, хотя эта функция, разумеется, важна в контексте разговора об утопии.

С пониманием литературной утопии как «убежища» связан вопрос о культурных функциях популярного чтения, в ходе которого читатель отстраняется от окру-

3 См., например, локальное эмпирическое исследование читательских предпочтений посетителей Санкт-Петербургских библиотек: *Соколов М.М., Соколова Н.А., Сафонова М.А.* Статусные культуры, биографические циклы и поколенческие изменения в литературных вкусах читателей петербургских библиотек // Журнал социологии и социальной антропологии. 2016. Т. XIX. № 3 (86). С. 116–135. Один из выводов статьи состоит в том, что читательские вкусы не соответствуют жанровому делению литературы, как оно представлено на современном отечественном рынке. Иными словами, идея «целевой аудитории жанра» является условной конструкцией, которая не отражает (или лишь отчасти отражает) актуальные практики чтения.

жающего мира, в том числе и от навязываемых социальных ролей — семейных, профессиональных и т.д.⁴ В отношении проблематики рецензируемой книги эта мысль означает, что утопическим является не только изображенное в тексте несуществующее место, — им может быть и сам процесс чтения (включающий в себя как русскоязычную литературу, так и потенциально переводную, и книги на языке оригинала). Если одни читатели «сбегают» в идеализированное имперское прошлое России или в космическое будущее, в котором Россия побеждает всех врагов, то другие находят «безопасную зону» в романтических сюжетах, разворачивающихся в исторических декорациях, третьи — еще в чем-то и т.д. В перспективе читательского восприятия «карта» утопии приобретает иной вид, чем она представлена в книге: это уже не двуголосица «консерваторов» и «либералов», отраженная в ряде произведений, а подвижные, исчезающие и появляющиеся «островки» литературы, на которые разные читатели обращают свой взгляд, когда хотят увидеть и посетить утопию.

Тема «консервативного поворота» в современной России развивается во втором разделе, посвященном понятию идеологии. В фокусе внимания авторов — научная фантастика, которая отражает и транслирует «правую» консервативную идеологию. *Михаил Суслов* анализирует тексты писателей и критиков Д. Володина, С. Чекмаева, Р. Злотникова, С. Лукьяненко, а также коммерческий межавторский проект «Этногенез»; *Виктор Шнирельман* сосредоточивается на романах В. Головачева и С. Тармашева. Суслов обращает внимание на связь между массовой научной фантастикой и правительственными структурами, которая имеет идеологические и коммерческие основания. Согласно выводу автора, консервативная научная фантастика функционирует как политический язык, на котором политические элиты и «массы» (grassroots) ведут диалог о «будущем величии России и ее мессианской роли на международной арене» (с. 107). Шнирельман указывает на трансформацию образа врага в современной научной фантастике: теперь это уже не капитализм, а «чужак», пришелец-иностранец, изображаемый как главная причина социального беспорядка и неравенства и преграда, которую необходимо устранить для достижения счастливого будущего (с. 192). *Анастасия Митрофанова* полагает, что продуктивная модель развития человечества содержится в романах Яны Завацкой, чьи произведения можно найти в открытом доступе на странице автора в сети. По мысли исследовательницы, уникальность позиции Завацкой в том, что она синтезирует марксизм и католицизм и не отделяет социальное развитие человека от нравственного (с. 171). Если консервативная утопия может предложить что-то взамен западным неolibеральным моделям, то занимающая другой полюс производства отечественная «постмодернистская литература мейнстрима», несущая сильный сатирический и иронический заряд, не содержит в себе никаких конструктивных решений (с. 107, см. эту же мысль в статье М. Магуайр — с. 83). Разбирая ретрофутуристические произведения Э. Лимонова, *Андрей Рогачевский* заключает, что изображение докапиталистического прошлого в них стоит трактовать как антиутопию под маской утопии (с. 144).

4 Ср.: «...реципиент МК [массовой культуры]... отделен не только от происходящего в книге или на экране, но и от существующего вокруг, когда он читает или смотрит. Реципиент как бы «выгораживает» себе социальное пространство и время, недоступное для привычного ролевого ангажирования, вовлеченности в домашние дела или подробности рутинного пути домой, освобождает себя — вполне приятными средствами — от необходимости, скажем, смотреть на людей, сидящих напротив в метро» (*Дубин Б.* Массовое признание и массовая культура [1998] // *Дубин Б.* Классика, после и рядом: социологические очерки о литературе и культуре. М.: Новое литературное обозрение, 2010. С. 81).

Дискуссия о судьбе России и ее месте в глобализированном мире неотделима от дискуссии о языке как основе национальной идентичности. В третьем разделе рассматриваются произведения, в которых, с одной стороны, тематизируется роль церковнославянского языка в современной России, а с другой — осмысливается в метафорическом ключе напряжение между языковой нормой и «живым» языком. *Пер-Арне Будин* показывает, что и с точки зрения обращения к языку как художественной теме современная русскоязычная утопия четко делится на «консервативную» и «либеральную». Для первой церковнославянский язык представляет собой знак национального единства будущей России, вторая же использует его как стилистический прием, позволяющий высмеять консервативную программу (в частности, указывая на незнание церковнославянского «консерваторами») (с. 216). *Ингунн Лунде* анализирует язык романа В. Вотрина «Логопед» (2012), действие которого происходит в воображаемом мире, где сосуществуют разные языковые нормы и идеологии. Здесь язык («народный язык, на котором говорят люди») персонифицируется. Для него норма — это клетка, высвобождение из которой показывается как возвращение к естественному состоянию (с. 225). Лунде показывает, как в поэтике романа преломляется исторический контекст — споры о языке в 2000-е гг. Для читателя «нормализованный» язык в пространстве романа воспринимается как привычный и понятный, а «живой» и «естественный» язык, наоборот, — как по-детски неправильный и неточный. В перспективе героев же идеи нормы и отклонения от нее «переворачиваются», «остраиваются», из-за чего бессмысленными начинают казаться любые проекты по регулированию языка (с. 230).

Любопытна статья *Лары Рязановой-Кларк* о телесериале «Лондонград» (2015) по сценарию М. Идова и романе А. Остальского «Английская тайна» (2014), показывающих жизнь русских мигрантов в Британии. Этот материал сильно отличается от других произведений, рассмотренных в монографии, и в целом имеет мало общего с конвенциональной утопией. Тем не менее вопрос о конструировании языковой идентичности в чужой среде непосредственно связан с проблематикой утопии. Согласно Бенедикту Андерсону, в языковом отношении «воображаемое сообщество» мыслит себя как лингвистически гомогенную формацию. «Языковое воображаемое», пишет Рязанова-Кларк, всегда утопично, так как подразумевает цельность «языковой картины мира», которая, однако, конфликтует с раздробленностью и фрагментированностью реальных городских «языковых сообществ» (с. 238). В сериале Идова показана идеализированная ситуация существования билингвального русско-английского сообщества в Лондоне, где все друг друга понимают. Сериальный Лондон, таким образом, оказывается эскапистской утопией (с. 242). Напротив, у Остальского Лондон — враждебная, «чужая» для русскоговорящих персонажей среда, в которой интеграция мигрантов невозможна. В романе разнообразие и разнovidности разговорного русского служат индикаторами социальной несовместимости представителей разных языковых сообществ. Русский язык, как будто общий для персонажей, в действительности не становится фундаментом для формирования цельной идентичности диаспоры (с. 244).

Статьи последнего, четвертого раздела посвящены понятию территории. О статье М. Липовецкого (про роман Сорокина) уже шла речь выше; в оставшихся двух статьях повторяется принятое в контексте монографии деление русскоязычной утопии по идеологическому содержанию на «консервативную» и «либеральную». В статье *Эдит Клоуз* о русскоязычной «консервативной утопии» рассматривается деятельность А. Проханова, лауреата многих государственных наград, проекты которого получают официальную поддержку Кремля. В качестве политического активиста Проханов является основателем Изборского клуба, нацеленного

на поддержку патриотически ориентированной политики в России, в качестве публициста — главным редактором правой газеты «Завтра», в качестве писателя — автором ультранационалистических романов. Влияние Проханова распространяется на президентскую администрацию, которая перенимает его идеологические установки (с. 265). Писательская же деятельность необходима ему для общения с широкой (судя по тиражам) читательской аудиторией. Территориальная проблематика раскрывается в статье на материале проекта Изборского клуба по созданию Священного холма в Пскове, который должен был стать центром русской духовности (с. 266), и романа «Господин Гексоген» (2002), в котором центр утопической России переносится из Москвы в регионы (с. 270). Однако, пишет Клоуз, «народную» популярность стоит воспринимать критически — как конструкт, созданный самим Прохановым: о читателях его романов ничего не известно, и широкого отклика последние не имеют (как показал проведенный исследовательницей опрос в «Фейсбуке», никто эти романы не читает), а холм в Пскове так и не стал популярным местом паломничества (с. 275). Срединный путь между «консервативной» и «либеральной» повесткой предлагается в романе Д. Быкова «ЖД» (2006), которому посвящена статья *Софьи Хаги*. Согласно этой статье, в центре романа стоит вопрос: «Как можно разорвать цикличность истории и уйти от исторического детерминизма?» В романе герои перемещаются между Москвой (городом-государством будущего) и провинцией, однако к этим локациям добавляется еще одна — мистическая и утопическая «пустота», уход в которую, заключает Хаги, для героев означает обретение личной свободы (с. 294).

В завершение вернемся к вынесенному в заглавие вопросу: «Кому в утопии жить хорошо?», который для нас является методологическим. Утопия — это, с одной стороны, изображение, отсылающее к несуществующему месту, с другой — «воображаемый мир», который люди конструируют в ходе эстетического восприятия, который они зачем-то обживают и нахождение в котором имеет для них культурную ценность и смысл. Для читателя мотивацией к соучастному созданию утопии не обязательно является такой текст, в котором предлагается конкретная социополитическая программа или критически осмысляются другие программы, — им потенциально может быть вообще любой текст. Таким образом, существенно не только сообщение, которое передается в тексте, с которым можно согласиться или не согласиться, которое можно усвоить или проигнорировать, но также и опыт, который читатель получает от нахождения в «воображаемом мире» и который он может перенести в повседневность. В этом контексте актуальным представляется феноменологический анализ чтения и метод «социологической поэтики» (термин П.Н. Медведева и В.Н. Волошинова)⁵. Имея в виду материал рас-

5 См., например, предложенный Б. Дубиним анализ отечественного романа-боевика. Ученый фокусируется не на тематических и содержательных элементах текстов, которые служат основой для установления авторско-читательского взаимодействия и которые в связи с этим не подвергаются опровержению, а на механизмах читательской идентификации, то есть на опыте: «Задавая через метки неизвестного и непривычного ситуацию рефлексивности, сосредоточенности читателя на собственных переживаниях и ощущениях, подобные конструкции [мотивы утаенности, секретности в романе-боевике] позволяют особым, контролируемым и для автора, и для читателя образом вводить некоторые новые для реципиента символы и значения “другого”, нормы сочленения тех и других, их “прочтения” и т.д. По функции это устройства адаптивные» (Дубин Б. Испытание на состоятельность: к социологической поэтике русского романа-боевика [1996] // Дубин Б. Слово — письмо — литература: очерки по социологии современной культуры. М.: Новое литературное обозрение, 2001. С. 233).

смотренного сборника, можно задаться вопросом: какой опыт дает современная литературная утопия русскоязычным читателям?⁶ Этот вопрос, на наш взгляд, уместен при разговоре о том, где, зачем и как люди находят утопию — то есть о ее культурных функциях.

6 Один из вариантов ответа дает И. Каспэ, анализируя материал позднесоветской культуры, — это опыт «утопического видения»: «Мы научаемся определенным принципам чтения и зрения, позволяющим распознавать утопию, видеть ее — часто в самых неожиданных местах; более того, мы научаемся определенным аффектам, приобщающим нас к роли утопического реципиента» (*Каспэ И. Указ. соч. С. 8*).